**Джеймс Джойс Эвелин**

   Она сидела у окна, глядя, как вечер завоевывает улицу. Головой она прислонилась к занавеске, и в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она чувствовала усталость.
   Прохожих было мало. Прошел к себе жилец из последнего дома; она слышала, как его башмаки простучали по цементному тротуару, потом захрустели по шлаковой дорожке вдоль красных зданий. Когда-то там был пустырь, на котором они играли по вечерам с другими детьми. Потом какой-то человек из Белфаста купил этот пустырь и настроил там домов – не таких, как их маленькие темные домишки, а кирпичных, красных, с блестящими крышами. Все здешние дети играли раньше на пустыре – Дивайны, Уотерсы, Данны, маленький калека Кьоу, она, ее братья и сестры. Правда, Эрнст не играл: он был уже большой. Отец постоянно гонялся за ними по пустырю со своей терновой палкой; но маленький Кьоу всегда глядел в оба и успевал крикнуть, завидев отца. Все-таки тогда жилось хорошо. Отец еще кое-как держался; кроме того, мать была жива. Это было очень давно; теперь и она, и братья, и сестры выросли; мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, а Уотерсы вернулись в Англию. Все меняется. Вот теперь и она скоро уедет, как другие, покинет дом.
   Дом! Она обвела глазами комнату, разглядывая все те знакомые вещи, которые сама обметала каждую неделю столько лет подряд, всякий раз удивляясь, откуда набирается такая пыль. Может быть, больше никогда не придется увидеть эти знакомые вещи, с которыми она никогда не думала расстаться. А ведь за все эти годы ей так и не удалось узнать фамилию священника, пожелтевшая фотография которого висела над разбитой фисгармонией рядом с цветной литографией святой Маргариты-Марии Алакок[1]. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию гостям, отец говорил небрежным тоном:
   – Он сейчас в Мельбурне.
   Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пробовала обдумать свое решение со всех сторон. Дома по крайней мере у нее есть крыша над головой и кусок хлеба; есть те, с кем она прожила всю жизнь. Конечно, работать приходилось много, и дома, и на службе. Что будут говорить в магазине, когда узнают, что она убежала с молодым человеком? Может быть, назовут ее дурочкой; а на ее место возьмут кого-нибудь по объявлению. Мисс Гэйвен обрадуется. Она вечно к ней придиралась, особенно когда поблизости кто-нибудь был.
   – Мисс Хилл, разве вы не видите, что эти дамы ждут?
   – Повеселее, мисс Хилл, сделайте одолжение.
   Не очень-то она будет горевать о магазине.
   Но в новом доме, в далекой незнакомой стране все пойдет по-другому. Тогда она уже будет замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать тогда. С ней не будут обращаться так, как обращались с матерью. Даже сейчас, несмотря на свои девятнадцать с лишним лет, она часто побаивается грубости отца. Она уверена, что от этого у нее и сердцебиения начались. Пока они подрастали, отец никогда не бил ее так, как он бил Хэрри и Эрнста, потому что она была девочка; но с некоторых пор он начал грозить, говорил, что не бьет ее только ради покойной матери. А защитить ее теперь некому. Эрнст умер, а Хэрри работает по украшению церквей и постоянно в разъездах. Кроме того, непрестанная грызня из-за денег по субботам становилась просто невыносимой. Она всегда отдавала весь свой заработок – семь шиллингов, и Хэрри всегда присылал сколько мог, но получить деньги с отца стоило больших трудов. Он говорил, что она транжирка, что она безмозглая, что он не намерен отдавать трудовые деньги на мотовство, и много чего другого говорил, потому что по субботам с ним вовсе сладу не было. В конце концов он все-таки давал деньги и спрашивал, собирается ли она покупать провизию к воскресному обеду. Тогда ей приходилось сломя голову бегать по магазинам, проталкиваться сквозь толпу, крепко сжав в руке черный кожаный кошелек, и возвращаться домой совсем поздно, нагруженной покупками. Тяжело это было – вести хозяйство, следить, чтобы двое младших ребят, оставленных на ее попечение, вовремя ушли в школу, вовремя поели. Тяжелая работа – тяжелая жизнь, но теперь, когда она решилась уехать, эта жизнь казалась ей не такой уж плохой.
   Она решилась отправиться вместе с Фрэнком на поиски другой жизни. Фрэнк был очень добрый, мужественный, порядочный. Она непременно уедет с ним вечерним пароходом, станет его женой, будет жить с ним в Буэнос-Айресе, где у него дом, дожидающийся ее приезда. Как хорошо она помнит свою первую встречу с ним; он жил на главной улице в доме, куда она часто ходила. Казалось, что это было всего несколько недель назад. Он стоял у ворот, кепка съехала у него на затылок, клок волос спускался на бронзовое лицо. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее у магазина и провожал домой. Повел как-то на «Цыганочку»[2], и она чувствовала такую гордость, сидя рядом с ним на непривычно хороших для нее местах. Он очень любил музыку и сам немножко пел. Все знали, что он ухаживает за ней, и, когда Фрэнк пел о девушке, любившей моряка[3], она чувствовала приятное смущение. Он прозвал ее в шутку Маковкой. Сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник, потом он стал ей нравиться. Он столько рассказывал о далеких странах. Он начал с юнги, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллен[4], ходившем в Канаду. Перечислял ей названия разных пароходов, на которых служил, названия разных линий. Он плавал когда-то в Магеллановом проливе и рассказывал ей о страшных патагонцах. Теперь, по его словам, он обосновался в Буэнос-Айресе и приехал на родину только в отпуск. Отец, конечно, до всего докопался и запретил ей даже думать о нем.

   – Знаю я эту матросню, – сказал он.
   Как-то раз отец повздорил с Фрэнком, и после этого ей пришлось встречаться со своим возлюбленным украдкой.
   Вечер на улице сгущался. Белые пятна двух писем, лежавших у нее на коленях, расплылись. Одно было к Хэрри, другое – к отцу. Ее любимцем был Эрнст, но Хэрри она тоже любила. Отец заметно постарел за последнее время; ему будет недоставать ее. Иногда он может быть очень добрым. Не так давно она, больная, пролежала день в постели, и он читал ей рассказ о привидениях и поджаривал гренки в очаге. А еще как-то, когда мать была жива, они ездили на пикник в Хаут-Хилл[5]. Она помнила, как отец напялил на себя шляпу матери, чтоб посмешить детей.
   Время шло, а она все сидела у окна, прислонившись головой к занавеске, вдыхая запах пропыленного кретона. С улицы издалека доносились звуки шарманки. Мелодия была знакомая. Как странно, что шарманка заиграла ее именно в этот вечер, чтобы напомнить ей про обещание, данное матери, – обещание как можно дольше не бросать дом. Она вспомнила последнюю ночь перед смертью матери: она снова была в тесной и темной комнате по другую сторону передней, а на улице звучала печальная итальянская песенка. Шарманщику велели тогда уйти и дали ему шесть пенсов. Она вспомнила, как отец с самодовольным видом вошел в комнату больной, говоря:
   – Проклятые итальянцы! И сюда притащились.
   И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо – жизнь, полная незаметных жертв и закончившаяся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, твердивший с тупым упорством: «Конец удовольствию – боль! Конец удовольствию – боль!» Она вскочила, охваченная ужасом. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на счастье. Фрэнк обнимет ее, прижмет к груди. Он спасет ее.

**\*\*\***

   Она стояла в суетливой толпе на пристани в Норт-Уолл. Он держал ее за руку, она слышала, как он говорит, без конца рассказывает что-то о путешествии. На пристани толпились солдаты с вещевыми мешками. В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными иллюминаторами. Она молчала. Она чувствовала, как побледнели и похолодели у нее щеки, и, теряясь в своем отчаянии, молилась, чтобы бог вразумил ее, указал ей, в чем ее долг. Пароход дал в туман протяжный, заунывный гудок. Если она поедет, завтра они с Фрэнком уже будут в открытом море на пути к Буэнос-Айресу. Билеты уже куплены. Разве можно отступать после всего, что он для нее сделал? Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, и она не переставая шевелила губами в молчаливой горячей молитве.
   Звонок резанул ее по сердцу. Она почувствовала, как Фрэнк сжал ей руку.
   – Идем!
   Волны всех морей бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в эту пучину; он утопит ее. Она вцепилась обеими руками в железные перила.
   – Идем!
   Нет! Нет! Нет! Это немыслимо. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину, поглощавшую ее, она кинула вопль отчаяния.
   – Эвелин! Эви!
   Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него не любя, не прощаясь, не узнавая.